

18+

Кирилл Шатилов

Непопулярная лингвистика

Английский язык как учитель морали

Кирилл Шатилов
Непопулярная лингвистика.
Английский язык
как учитель морали

<https://litres.ru/74319748>

ISBN 9785007090582

Аннотация

Эта книга показывает, как язык перестал быть просто средством общения и превратился в невидимый механизм, который формирует наши моральные оценки, привычки и представления о добре и зле. На примере английской лексики автор объясняет, как слова незаметно учат нас жить, судить, одобрять и осуждать, меняя саму картину мира.

Содержание

Язык как новая религия	6
Почему современные общества всё реже учат морали через церковь и всё чаще через правильные слова	6
Кто имеет право называть вещи?	19
Почему борьба за определение слова — это борьба за власть над реальностью	19
Почему словари никогда не бывают нейтральными	29
Как словари одновременно описывают язык и формируют его	29
Вежливость как оружие	40
Почему хорошие манеры исторически служили инструментом отделения элиты от простолюдинов	40
От греха к токсичности	49
Как слова sin, vice и wickedness уступили место toxic, problematic и harmful, хотя сама моральная функция осталась прежней	49
Когда грех был объективной реальностью	51
Что случилось после смерти Бога	53
Почему токсичность стала новым грехом	54
Загадочная карьера слова problematic	56

От греха к вреду	58
Новые смертные грехи	59
Почему слово offensive стало таким могущественным	60
Почему мы всё ещё нуждаемся в моральных ярлыках	61
От священника к редактору	62
Финальная мысль	63
Изобретение джентльмена	64
Как слово gentleman столетиями продавало социальное превосходство под видом добродетели	64
Конец ознакомительного фрагмента.	71

Непопулярная лингвистика Английский язык как учитель морали

Кирилл Шатилов

© Кирилл Шатилов, 2026

ISBN 978-5-0070-9058-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Язык как новая религия

Почему современные общества всё реже учат морали через церковь и всё чаще через правильные слова

Когда средневековый европеец хотел понять, как ему жить, он шёл в церковь.

Там ему объясняли, что такое добро и зло.

Что считается грехом.

Что считается добродетелью.

Кого следует уважать.

Кого следует опасаться.

Что можно говорить.

Что нельзя говорить.

Какие мысли достойны человека.

Какие мысли опасны для души.

Сегодня большинство жителей Лондона, Нью-Йорка, Торонто или Амстердама в церковь не ходят. Многие вообще считают себя нерелигиозными людьми. Некоторые даже уверены, что живут в полностью светском обществе, освобождённом от догм прошлого.

Однако возникает любопытный вопрос.

Если церковь больше не является главным моральным учителем общества, то кто занял её место?

Школа?

Государство?

Телевидение?

Социальные сети?

Отчасти да.

Но есть и более интересный ответ.

Во многих случаях эту роль постепенно начал выполнять сам язык.

Не книги.

Не проповеди.

Не законы.

А слова.

На первый взгляд идея кажется странной.

Слова ведь всего лишь описывают мир.

По крайней мере, нас именно этому учили.

Сначала появляется реальность.

Потом человек придумывает для неё название.

Получается словарь.

Всё просто.

Но история показывает, что язык редко ограничивается описанием.

Очень часто он начинает объяснять людям, каким мир должен быть.

А это уже совсем другая функция.

Представьте Англию XIII века.

Слова *sin* (грех), *virtue* (добродетель), *temptation* (искушение), *salvation* (спасение), *grace* (благодать) были не просто словами.

Они являлись координатами, внутри которых человек воспринимал жизнь.

Когда крестьянин, ремесленник или торговец оценивал собственные поступки, он делал это через готовую моральную систему.

Мир делился на правильное и неправильное.

На грех и добродетель.

На спасение и погибель.

Язык постоянно напоминал человеку, в какой вселенной он живёт.

Можно сказать, что словарь был частью религии.

Но точно так же верно и обратное.

Религия была частью словаря.

Потом Европа начала меняться.

Пришло Просвещение.

Наука.

Индустриальная революция.

Старые религиозные категории постепенно начали терять влияние.

И тогда произошло нечто любопытное.

Моральная структура общества никуда не исчезла.

Исчезли лишь некоторые слова.

На место одних пришли другие.

Вместо спасения всё чаще начали говорить о прогрессе.

Вместо добродетели — о цивилизованности.

Вместо греха — о невежестве.

Человек по-прежнему делил мир на хорошее и плохое.

Просто использовал другую лексику.

Это очень важное наблюдение.

Общества могут менять религии.

Могут менять идеологии.

Могут менять политические системы.

Но они почти никогда не отказываются от морального словаря.

Потому что людям необходимо понимать не только то, как устроен мир.

Им необходимо понимать, каким человеком следует быть.

И язык постоянно отвечает на этот вопрос.

Возьмём простой пример.

Если вы откроете газету XIX века, вы встретите множество слов, которые сегодня почти исчезли из публичного морального обсуждения.

Честь.

Долг.

Благородство.

Добродетель.

Порядочность.

Сегодня эти слова никуда не делись окончательно, но их

влияние заметно ослабло.

Зато появились другие.

Authenticity — подлинность.

Inclusivity — инклюзивность.

Empathy — эмпатия.

Respect — уважение.

Awareness — осознанность.

Sensitivity — чувствительность.

Заметьте любопытную деталь.

Я сейчас не утверждаю, что новые слова хуже старых или наоборот.

Речь о другом.

Они выполняют ту же функцию.

Они объясняют человеку, каким человеком следует быть.

Особенно интересно наблюдать за тем, как некоторые слова буквально меняют своё значение в зависимости от эпохи.

Например, слово *tolerance*.

Ещё несколько десятилетий назад оно в основном означало терпимость в классическом смысле слова: способность мириться с существованием взглядов, которые тебе не нравятся.

Фактически:

I disagree with you, but I tolerate your right to think that way.

Я не согласен с вами, но признаю ваше право так думать.

Однако постепенно во многих общественных дискуссиях слово стало приобретать дополнительный оттенок. Под тер-

пимостью всё чаще начали понимать не просто мирное сосуществование, а позитивное принятие.

То есть смысл незаметно сместился.

Сначала:

Я не мешаю тебе жить.

Потом:

Я обязан демонстрировать одобрение твоего выбора.

Это уже не словарный спор.

Это изменение морального стандарта, зашитое внутрь слова.

Ещё показательнее история слова *inclusive*.

Формально оно означает:

включающий всех;

никого не исключаящий.

Но в современной англоязычной культуре это слово давно превратилось в моральный компас.

Если про компанию говорят:

We are an inclusive workplace.

Мы создаём инклюзивную рабочую среду.

Это не просто описание кадровой политики.

Это заявление о моральной добродетели.

Компания фактически сообщает:

Мы хорошие люди.

Любопытно, что противоположное понятие почти никогда не формулируется напрямую.

Никто не говорит:

We are exclusive and discriminatory.

Мы исключаем людей и дискриминируем их.

Поэтому само слово начинает работать как знак нравственной правоты.

То же самое произошло со словом *safe*.

Исторически оно означало физическую безопасность.

Например:

The bridge is safe.

Мост безопасен.

The area is safe at night.

В этом районе безопасно ночью.

Но в последние десятилетия возникло выражение:

safe space

безопасное пространство

Причём безопасность здесь понимается уже не физически.

Никто не говорит о грабителях или пожарах.

Речь идёт о психологическом комфорте.

О том, чтобы человек не сталкивался с высказываниями, которые могут его задеть.

Получается удивительная эволюция.

Слово осталось тем же.

Но моральная вселенная вокруг него изменилась почти полностью.

Очень показательно и слово *harm*.

На первый взгляд всё просто:

harm = вред.

Однако в современном общественном языке понятие вреда постепенно расширилось.

Раньше вредом считалось нечто физическое или материальное.

Сегодня можно услышать:

Words can cause harm.

Слова могут причинять вред.

Или:

Harmful language.

Вредоносная речь.

Само по себе это утверждение не ново.

Люди всегда знали, что словами можно ранить.

Интересно другое.

Понятие вреда начинает распространяться на всё более широкие области человеческого общения.

А вместе с ним расширяется и моральная ответственность говорящего.

Можно вспомнить и слово *offensive*.

Когда-то оно описывало откровенное оскорбление.

Сегодня диапазон его применения стал намного шире.

Человек может сказать:

I find that offensive.

Я считаю это оскорбительным.

Причём речь может идти не о личном оскорблении, а о несогласии с идеей, шуткой или даже фактом.

Получается любопытный эффект.

Слово начинает работать как моральный аргумент само по себе.

Особенно интересна судьба слова *diversity*.

Буквально: *разнообразие*.

На уровне словаря всё предельно просто.

Но в современной публичной речи *diversity* часто обозначает не просто разнообразие как факт, а разнообразие как ценность.

Разница кажется маленькой.

На самом деле она огромна.

Сравните.

Описание:

The city has a diverse population.

В городе разнообразный состав населения.

Моральное утверждение:

Diversity is our strength.

Разнообразие — наша сила.

Во втором случае слово уже выступает не как описание мира.

Оно выступает как принцип того, каким мир должен быть.

Любопытно наблюдать и за тем, как меняются отрицательные ярлыки.

В Средние века существовали слова:

— sinner — грешник;

— heretic — еретик;

— blasphemer — богохульник.

Они сообщали окружающим:

Этот человек нарушает моральный порядок.

Сегодня в английском публичном пространстве всё чаще работают другие слова:

— racist — расист;

— sexist — сексист;

— bigot — фанатик, нетерпимый человек;

— extremist — экстремист;

— denier — отрицатель

Заметьте: я сейчас не обсуждаю справедливость этих ярлыков.

Интересен сам механизм.

Как и средневековые обвинения, они выполняют социальную функцию маркировки.

Они помогают отделить допустимое от недопустимого.

Праведников от грешников.

Только моральная система стала другой.

А может быть, самый показательный пример последних лет — слово *ally*.

Буквально: союзник.

Когда-то это было в основном военное или дипломатическое понятие.

Сегодня можно услышать:

Be an ally.

Будьте союзником.

Но речь идёт вовсе не о войне.

Под словом подразумевается определённая моральная позиция, определённый набор взглядов и моделей поведения.

Фактически человеку предлагают не просто поддержать кого-то.

Ему предлагают присоединиться к нравственному лагерю.

Именно здесь особенно хорошо видно, как обычная лексика начинает выполнять функции, которые когда-то выполняли религиозные категории.

В этом смысле многие современные слова удивительно напоминают религиозные категории прошлого.

Не потому, что современное общество внезапно стало религиозным.

А потому, что общество никогда не может существовать без понятий добра и зла, допустимого и недопустимого.

Оно лишь меняет словарь.

Именно поэтому языковые споры последних десятилетий оказываются настолько эмоциональными.

Со стороны они часто выглядят нелепо.

Люди спорят о местоимениях.

О формулировках.

О названиях групп.

О словах, которые ещё вчера казались вполне обычными.

Почему?

Потому что на самом деле спор идёт не о словах.

Спор идёт о морали.

О принадлежности.

О социальной легитимности.

Язык становится ареной, на которой общество договаривается о том, что считать правильным.

Любопытно, что этот механизм прекрасно работает даже тогда, когда люди считают себя полностью рациональными.

Современный образованный человек может не верить в ад.

Может не верить в рай.

Может не признавать никакого религиозного авторитета.

Но при этом испытывать вполне искренний страх произвести неправильную фразу в неправильной компании.

Такой страх невозможно объяснить одной лишь вежливостью.

Здесь уже работают более глубокие механизмы.

Те самые, которые раньше обеспечивали соблюдение религиозных норм.

Разумеется, язык не заменил церковь полностью.

У него нет священников в буквальном смысле слова.

Нет храмов.

Нет литургий.

Хотя иногда социальные сети подозрительно напоминают и то, и другое.

Но язык действительно взял на себя значительную часть функций, которые раньше выполняли религия и идеология.

Он определяет допустимое.

Он маркирует недопустимое.

Он награждает символическим одобрением.

Он наказывает общественным неодобрением.

И всё это происходит настолько привычно, что большинство людей даже не замечают самого механизма.

Возможно, главный парадокс XXI века заключается именно в этом.

Мы живём в эпоху, которая любит считать себя освобождённой от догм.

В эпоху, которая гордится своей рациональностью.

В эпоху, которая постоянно говорит о свободе мышления.

И одновременно никогда прежде люди не уделяли такого внимания правильному подбору слов.

Не потому, что стали лицемернее.

И не потому, что стали глупее.

А потому, что общество по-прежнему нуждается в моральной навигации.

Просто старые кафедры постепенно опустели.

А новые выросли прямо внутри языка.

И когда сегодня человек спорит о словах, он очень часто спорит вовсе не о языке.

Он спорит о том, каким должен быть мир.

И каким должен быть человек в этом мире.

Кто имеет право называть вещи?

Почему борьба за определение слова — это борьба за власть над реальностью

Есть старая иллюзия, которую большинство людей никогда не подвергает сомнению.

Мы привыкли думать, что слова просто обозначают уже существующие вещи.

Сначала существует объект.

Потом появляется название.

Вот дерево.

Вот камень.

Вот река.

Вот слово для каждого из них.

Кажется, что язык всего лишь наклеивает ярлыки на готовую реальность.

Однако стоит выйти за пределы мира деревьев и камней, как выясняется любопытная вещь.

Большая часть человеческой жизни состоит из объектов, которые нельзя потрогать руками.

Справедливость.

Свобода.

Дискриминация.

Терроризм.

Демократия.

Ненависть.

Любовь.

Нация.

Привилегия.

Травма.

У этих вещей нет физической формы.

Они существуют прежде всего как слова.

Именно поэтому борьба за определение слова почти всегда оказывается борьбой за власть.

Потому что тот, кто определяет слово, во многом определяет саму реальность.

Представьте двух людей, которые смотрят на одно и то же событие.

Один говорит:

Это протест.

Другой говорит:

Это беспорядки.

Физически они описывают одну и ту же ситуацию.

Те же люди.

Те же улицы.

Те же действия.

Но после выбора слов возникает уже две разные картины

мира.

В первом случае мы видим гражданскую активность.

Во втором — угрозу общественному порядку.

Событие не изменилось.

Изменилось название.

А вместе с ним изменилось и отношение к происходящему.

Именно поэтому политика так любит словари.

Точнее, не сами словари, а право определять значения.

Любая серьёзная идеологическая борьба рано или поздно превращается в борьбу за лексику.

Посмотрите на слово *marriage* — брак.

На протяжении веков его определение казалось очевидным.

Затем начались общественные споры.

Изменилось ли само явление?

Отчасти.

Но гораздо важнее было другое.

Началась борьба за то, кто имеет право определять значение слова.

Потому что победитель получал не просто словарную статью.

Он получал право задавать рамку общественного обсуждения.

То же самое произошло со словом *racism*.

Ещё несколько десятилетий назад большинство словарей

определяли расизм относительно просто: *убеждение в превосходстве одной расы над другой*.

Потом в общественных науках стали распространяться определения, включающие системную власть, исторические структуры и социальные институты.

В результате возникли две конкурирующие реальности.

В одной расизмом может быть любой человек независимо от своего положения.

В другой расизм требует определённых структур власти.

Заметьте: спор идёт не о словаре.

Спор идёт о том, как устроен мир.

То же происходит со словом *woman*.

Со словом *gender*.

Со словом *violence*.

Со словом *harassment*.

Со словом *privilege*.

Практически любой крупный общественный конфликт последних десятилетий можно пересказать как конфликт определений.

Люди спорят не столько о фактах, сколько о языке, через который эти факты будут описаны.

Потому что язык создаёт границы допустимого мышления.

В этом нет ничего нового.

На самом деле человечество занимается подобными вещами сотни лет.

Средневековая церковь прекрасно понимала силу слов. Если человека называли еретиком, это было не просто описание.

Это был приговор.

Слово *heretic* несло за собой целую вселенную последствий.

Оно определяло отношение общества к человеку.

Его статус.

Его безопасность.

Иногда его шансы дожить до следующего месяца.

Поэтому борьба за право назвать кого-то еретиком была борьбой за власть.

Точно так же сегодня борьба идёт вокруг других ярлыков.

Только набор слов изменился.

Особенно интересно наблюдать за тем, как меняются слова с отрицательной окраской.

Например:

- racist;
- sexist;
- extremist;
- fascist;
- conspiracy theorist;
- denier

Каждое из этих слов одновременно выполняет две функции.

Первая — описательная.

Вторая — моральная.

И часто именно вторая оказывается важнее.

Когда человека называют расистом, спор обычно заканчивается.

Когда человека называют экстремистом, обсуждение резко меняет направление.

Когда человека называют отрицателем чего-либо, аудитория уже получает готовую инструкцию, как к нему относиться.

Слово становится не просто описанием.

Оно становится инструментом социальной власти.

Любопытно, что этот механизм работает и в обратную сторону.

Существуют слова, которые наделяют человека моральным авторитетом.

Например:

— ally;

— activist;

— advocate;

— humanitarian;

— progressive

Они тоже не являются нейтральными.

Каждое из них создаёт определённый образ.

Каждое содержит скрытую оценку.

Каждое подсказывает аудитории, как следует воспринимать человека.

В XX веке французский философ Мишель Фуко посвятил значительную часть своих работ именно этой проблеме.

Фуко постоянно возвращался к одной мысли.

Власть существует не только в законах, армиях и правительствах.

Она существует в языке.

В классификациях.

В определениях.

В способности называть.

Кто определяет, что считается безумием?

Кто определяет, что считается преступлением?

Кто определяет, что считается нормой?

Ответ на эти вопросы во многом определяет устройство общества.

Можно провести простой мысленный эксперимент.

Представьте, что завтра слово *addiction* — зависимость — будет официально расширено настолько, что начнёт включать почти любую повторяющуюся привычку.

Не изменится ни один человеческий мозг.

Не изменится ни одна биохимическая реакция.

Но внезапно миллионы людей окажутся внутри новой категории.

Изменится политика.

Изменится медицина.

Изменится отношение общества.

Всё из-за одного определения.

Именно поэтому словари периодически оказываются в центре скандалов.

Многие искренне удивляются:

Почему люди так эмоционально реагируют на изменения словарных статей?

Потому что словарь воспринимается как арбитр реальности.

Когда словарь говорит:

Теперь это слово означает ещё и вот это

...для многих людей это звучит как:

Теперь мир устроен именно так

Хотя лексикографы обычно пытаются лишь описывать употребление.

Впрочем, было бы наивно считать, что словари полностью нейтральны.

Каждое определение требует выбора.

Какие оттенки значения включить?

Какие исключить?

Какие примеры привести?

Какие пометки добавить?

Словарь никогда не является фотографией языка.

Он всегда является его интерпретацией.

А интерпретация неизбежно связана с властью.

Иногда эта борьба принимает почти комические формы.

Одни люди требуют заменить слово *homeless* на *unhoused*.

Другие сопротивляются.

Одни настаивают на слове *illegal immigrant*.

Другие предпочитают *undocumented migrant*.

Одни говорят *global warming*.

Другие — *climate change*.

Формально речь идёт о лексике.

Фактически речь идёт о политике.

Потому что каждое название предлагает собственную картину мира.

Особенно хорошо это видно в средствах массовой информации.

Редактор никогда не пишет просто о событии.

Он неизбежно выбирает слова.

Вооружённые люди могут стать:

— fighters;

— militants;

— rebels;

— insurgents;

— terrorists;

— freedom fighters

Хотя речь может идти об одной и той же группе.

Слово задаёт моральную оптику ещё до того, как читатель успеет ознакомиться с фактами.

Поэтому знаменитая фраза из книги «Алиса в Зазеркалье» остаётся удивительно актуальной.

Шалтай-Болтай говорит Алисе:

Когда я использую слово, оно означает именно то, что я

хочу, чтобы оно означало.

На что Алиса отвечает:

Вопрос в том, можно ли заставить слова означать так много разных вещей.

А Шалтай-Болтай произносит, возможно, самую важную реплику всей книги:

Вопрос в том, кто здесь хозяин.

Именно это и есть главный вопрос любой языковой войны.

Не что означает слово.

А кто имеет право решать, что оно означает.

Потому что слова — это не просто этикетки на предметах.

Они являются инструментами коллективного мышления.

Через них люди понимают мир.

Через них объясняют добро и зло.

Через них распределяют статус.

Через них создают героев и злодеев.

Именно поэтому борьба за определение слова никогда не бывает просто лингвистикой.

На самом деле это всегда борьба за власть над реальностью.

Почему словари никогда не бывают нейтральными

Как словари одновременно описывают язык и формируют его

Существует одна чрезвычайно живучая иллюзия.

Большинство людей искренне считает словарь чем-то вроде термометра.

Он ничего не меняет.

Ничего не решает.

Ничего не навязывает.

Он просто фиксирует реальность.

Вот слово.

Вот его значение.

Вот пример употребления.

Казалось бы, всё предельно просто.

Однако история словарей показывает совсем другую картину.

На самом деле словарь никогда не был пассивным зеркалом языка. Он всегда находился в странном положении между наблюдателем и участником игры. Он одновременно описывает язык и влияет на него.

Именно поэтому словарные статьи периодически становятся причиной культурных войн, газетных скандалов, академических конфликтов и политических кампаний.

Потому что словарь отвечает не только на вопрос:

«Что означает это слово?»

Он ещё отвечает на вопрос:

«Чьё понимание этого слова считается официальным?»

А это уже вопрос власти.

Наивное представление о словаре возникло сравнительно недавно.

Большую часть человеческой истории никакого единого стандарта языка не существовало. Люди говорили так, как говорили их соседи. В одном городе слово звучало одним образом, в соседнем — другим. Правописание могло меняться от страницы к странице. Даже имя одного и того же человека нередко записывали несколькими способами.

В Англии XVI века это никого особенно не беспокоило.

Сегодня подобное кажется невозможным. Но именно словари сыграли огромную роль в создании ощущения, что существует один правильный язык.

Когда в 1755 году Самуэль Джонсон выпустил свой знаменитый словарь, он не просто собрал слова. Он начал создавать языковую норму.

Одни варианты попадали в словарь.

Другие оставались за его пределами.

Одни формы получали официальный статус.

Другие постепенно вытеснялись.

Формально Джонсон описывал английский язык.

Фактически он помогал создавать тот английский, который придёт после него.

В этом и заключается главный парадокс любого словаря.

Представим, что миллионы людей используют какое-то слово.

Редакторы словаря долго отказываются его признавать.

Для части общества оно остаётся «неправильным».

Затем словарь включает его в новую редакцию.

На следующий день слово не меняется.

Но меняется его статус.

Учителя начинают ссылаться на словарь.

Журналисты начинают ссылаться на словарь.

Редакторы начинают ссылаться на словарь.

Судьи иногда тоже.

Получается любопытная ситуация.

Словарь вроде бы лишь описал существующее употребление.

Но одновременно он повысил его легитимность.

Наиболее заметно это становится там, где язык соприкасается с идеологией.

Возьмём выражение:

illegal immigrant — нелегальный иммигрант.

Ещё недавно это считалось совершенно стандартным термином.

Логика проста.

Человек находится в стране незаконно.

Следовательно, он *illegal*.

Однако затем всё больше организаций начали продвигать другую формулировку:

undocumented immigrant — иммигрант без документов.

Или:

undocumented migrant — мигрант без документов.

Сторонники новой терминологии утверждали, что человек не может быть «нелегальным». Незаконным может быть поступок, но не сама личность.

Противники отвечали:

— *Если человек нарушил миграционное законодательство, почему мы должны делать вид, что этого не произошло?*

На первый взгляд это спор о словах.

На самом деле это спор о том, как общество должно воспринимать миллионы людей.

Когда словарь включает новую формулировку, он уже участвует в этой борьбе.

Ещё интереснее история слова *terrorist*.

Представьте вооружённую группу.

Она взрывает здания.

Убивает людей.

Ведёт войну против государства.

Как её назвать?

Terrorists — террористы.

Militants — боевики.

Insurgents — повстанцы.

Rebels — мятежники.

Freedom fighters — борцы за свободу.

Физически речь может идти об одной и той же группе людей.

Но после выбора слова возникает совершенно разная моральная картина мира.

Словарь здесь не создаёт политику.

Но он неизбежно соприкасается с ней.

Потому что между террористом и борцом за свободу лежит не лингвистика.

Там лежит власть.

Особенно показательна история слова *woman*.

Ещё сравнительно недавно большинство словарей определяли его примерно так:

adult human female

взрослая человеческая особь женского пола

Позже появились формулировки вроде:

a person who identifies as a woman

человек, идентифицирующий себя как женщина

И сразу выяснилось, что спор идёт вовсе не о словаре.

Люди начали обсуждать биологию.

Право.

Спорт.

Медицину.

Феминизм.

Права меньшинств.

Вся эта гигантская общественная дискуссия внезапно оказалась привязана к нескольким строкам словарной статьи.

Именно тогда становится очевидно: словарь не просто отражает реальность.

Он помогает обществу договориться о том, какой эта реальность считается.

То же произошло со словом *racism*.

Традиционно его определяли довольно просто:

prejudice or discrimination based on race

предубеждение или дискриминация по расовому признаку

Однако позже в академической среде распространилась формула:

prejudice plus power

предубеждение плюс власть

То есть расизмом считается не просто неприязнь к представителям другой расы, а неприязнь, подкреплённая системным доминированием.

На первый взгляд разница невелика.

На практике последствия огромны.

Если принять первое определение, расистом потенциально может быть любой человек.

Если принять второе — далеко не любой.

Поэтому спор о словаре моментально превращается в

спор об устройстве общества.

Любопытно и слово *hate speech*.

Попробуйте найти универсальное определение.

Очень быстро выяснится, что это почти невозможно.

Для одних *hate speech* означает прямые призывы к насилию.

Для других — широкий спектр оскорбительных высказываний.

Для третьих — любую речь, которая унижает определённые группы.

Каждое определение приводит к совершенно разным последствиям для свободы слова.

И каждое словарное уточнение становится маленьким политическим событием.

Но, пожалуй, самый показательный пример последних лет связан со словом *misinformation*.

Формально всё выглядит просто.

misinformation

ложная информация

Однако немедленно возникает следующий вопрос:

Кто определяет, что является ложью?

Газета?

Университет?

Правительство?

Алгоритм социальной сети?

Экспертное сообщество?

С этого момента начинается борьба уже не за слово.

А за право определять реальность.

Конечно, не всякая словарная война связана с политикой.

Иногда речь идёт просто о том, как меняется язык.

Классический пример — слово *literally*.

Традиционно оно означало:

буквально

Но носители языка уже много поколений используют его как эмоциональный усилитель:

I literally died laughing.

Я буквально умер от смеха.

Никто, конечно, не умер.

Все понимают, что это гипербола.

Когда словари начали фиксировать такое употребление, часть публики пришла в ярость.

Люди говорили:

— *Словарь капитулировал перед безграмотностью.*

— *Теперь слова больше ничего не значат.*

На самом деле словарь сделал именно то, что должен делать хороший словарь: признал существующее употребление.

Но общество восприняло это как культурное решение.

И в определённом смысле было право.

Потому что любое признание новой нормы влияет на дальнейшую судьбу слова.

Особенно забавно то, что словари одновременно обвиня-

ют в противоположных грехах.

Одни считают их слишком консервативными.

Другие — слишком прогрессивными.

Одни говорят:

— *Вы не успеваете за живым языком.*

Другие говорят:

— *Вы слишком быстро узакониваете языковую деградацию.*

На практике обе претензии неизбежны.

Потому что словарь постоянно балансирует между двумя ролями.

С одной стороны, он должен фиксировать реальную речь.

С другой — служить ориентиром для миллионов людей.

А эти задачи далеко не всегда совместимы.

В эпоху интернета ситуация стала ещё интереснее.

Сегодня новые слова появляются быстрее, чем когда-либо в истории.

Сначала рождается мем.

Потом появляется сленг.

Затем его начинают использовать миллионы людей.

И только спустя годы слово попадает в словарь.

Так произошло с *doomscrolling*, *rizz*, *simp*, *binge-watch* и десятками других выражений.

Получается любопытный порядок.

Сначала язык создаёт народ.

Потом его фиксируют лексикографы.

Но после фиксации словарь начинает влиять на дальнейшую судьбу этих слов.

Поэтому вопрос о нейтральности словаря имеет довольно простой ответ.

Словари стремятся быть объективными.

Хорошие лексикографы действительно стараются описывать язык, а не командовать им.

Но абсолютная нейтральность здесь невозможна.

Потому что сам акт определения уже меняет положение слова в обществе.

Словарь не диктатор языка.

Но и не безучастный наблюдатель.

Он одновременно архивариус и участник процесса.

Летописец и арбитр.

Зеркало и инструмент.

И именно поэтому люди так внимательно следят за тем, какие слова попадают в словарь и что именно там о них написано.

Потому что спор о словаре почти никогда не бывает спором о словаре.

На самом деле это спор о том, чья версия реальности получит официальный статус.

P.S. В СССР норму русского языка формировало центральное телевидение. Однако мало кто знает, что их язык формировал словарь не очень русского Розенталя. Как-то пришла совершенно серьёзная директива: отныне в прогнозе

погоды следует дожди произносить как «дожжи». Это — новая «русская» норма. Хотя ларчик открывался просто: словарь Розенталя переиздавался каждый год, а чтобы его переиздавать, каждый год нужно было менять в нём хотя бы букву, хотя бы запятую. И дикторы стали говорить дожжи, правда, не очень долго, поскольку кто-то скоро понял, что тогда и в отчётах о съездах партии придётся говорить «вожжи», а не вожди. Русский язык строится на аналогии, но немногие его «знатоки» это чувствуют...

Вежливость как оружие

Почему хорошие манеры исторически служили инструментом отделения элиты от простолюдинов

Существует ещё одна чрезвычайно успешная языковая иллюзия.

Большинство людей убеждено, что хорошие манеры появились потому, что людям хотелось быть добрее друг к другу.

Звучит вполне разумно.

Не перебивай собеседника.

Не чавкай за столом.

Не кричи.

Не плюй на пол.

Не сморкайся в скатерть.

Последний пункт сегодня кажется странным, но когда-то был вполне актуален.

На первый взгляд история вежливости выглядит как история цивилизации.

Люди постепенно учились вести себя лучше.

Становились культурнее.

Внимательнее.

Тактичнее.

Однако если с пристрастием посмотреть на происхождение большинства правил хорошего тона, обнаружится менее романтическая картина.

На протяжении многих столетий хорошие манеры были не столько проявлением доброты, сколько системой распознавания своих и чужих.

Иначе говоря, своеобразным социальным паролем.

Который позволял элите мгновенно определить, кто перед ней стоит.

В современном мире человеку достаточно взглянуть на аккаунт в LinkedIn, диплом университета или размер банковского счёта.

В средневековой Европе всё было сложнее.

Большинство людей не умело читать.

Документов почти не существовало.

Паспортов не было.

Социальное положение приходилось определять по внешним признакам.

Одежде.

Акценту.

Манере держаться.

И, конечно, поведению.

В результате хорошие манеры постепенно превратились в форму социального контроля.

Человек мог надеть дорожную одежду.

Мог купить лошадь.

Мог попытаться подражать аристократии.

Но стоило ему неправильно взять бокал или обратиться не тем титулом — и маска спадала.

Особенно интересно происхождение самого слова *courtesy* — вежливость.

Оно происходит от слова *court*.

Двор.

Королевский двор.

Изначально *courteous person* означал вовсе не доброго человека.

Он означал человека, умеющего вести себя при дворе.

То есть человека, знакомого с правилами элитной среды.

Фактически в самом слове спрятана его истинная функция.

Вежливость была языком двора.

Языком высшего общества.

Языком тех, кто находился рядом с властью.

По той же причине многие нормы поведения кажутся странными, если воспринимать их как проявление доброты.

Возьмём классический английский этикет XVIII века.

Существовали десятки правил относительно того:

— как сидеть;

— как стоять;

— как держать руки;

- как входить в комнату;
- как представлять гостей;
- как обращаться к людям разных рангов

Какая часть этих правил делала мир добрее?

Не так уж много.

Зато все они прекрасно выполняли другую задачу.

Они помогали отделять людей, выросших внутри элиты, от всех остальных.

Представьте молодого аристократа и богатого торговца.

Первый вырос среди этих правил с рождения.

Он впитал их автоматически.

Второй может иметь больше денег.

Может быть умнее.

Может быть талантливее.

Но ему придётся специально изучать то, что для первого естественно.

И даже тогда он будет совершать ошибки.

Именно так работают культурные барьеры.

Они выглядят как воспитание.

Но одновременно являются системой допуска в клуб.

Любопытно, что язык здесь играл не меньшую роль, чем сами манеры.

В Англии XIX века огромное значение имело не только то, что вы говорите.

Важно было, как именно вы это говорите.

Произношение становилось социальной визитной карточ-

кой.

Одно и то же предложение могло мгновенно выдать происхождение человека.

Не случайно позднее возник знаменитый акцент Received Pronunciation.

Так называемый «правильный английский».

Он был не просто способом произносить слова.

Он был пропуском в определённый социальный мир.

Человек мог сказать:

Good morning.

Но его гласные зачастую сообщали о нём больше, чем сама фраза.

В этом смысле вежливость удивительно похожа на современные профессиональные жаргоны.

Представьте двух программистов, которые обсуждают работу.

Через пять минут разговора новичок уже перестаёт понимать половину слов.

Не потому что они хотят его обидеть.

Просто язык группы выполняет функцию фильтра.

То же самое столетиями делали хорошие манеры.

Они создавали ощущение естественности для своих и ощущение неловкости для чужих.

Особенно показателен английский культ *small talk*.

Многие иностранцы до сих пор недоумевают, зачем англичане и американцы задают вопросы, ответы на которые

их почти не интересуют.

Как дела?

Как добрались?

Какая сегодня погода?

Хорошие выходные?

С точки зрения передачи информации всё это выглядит бессмысленно.

Но задача здесь совсем другая.

Small talk — это социальная смазка.

Способ показать, что вы понимаете правила игры.

Что вы безопасны.

Предсказуемы.

Социально компетентны.

Человек, который сразу переходит к делу, часто воспринимается как грубый не потому, что сказал что-то плохое.

А потому, что проигнорировал обязательный ритуал.

Тот же механизм можно увидеть в бесконечных английских смягчителях.

Представьте две фразы.

You're wrong.

Вы неправы.

И:

I'm not entirely sure that's the best approach.

Не уверен, что это лучший подход.

Формально смысл может быть одинаковым.

Но социальный эффект совершенно разный.

Английская элитная культура столетиями оттачивала искусство выражать конфликт таким образом, чтобы он выглядел почти как согласие.

И чем выше поднимался человек по социальной лестнице, тем чаще от него ожидали владения этим искусством.

Не случайно многие английские формулы вежливости буквально невозможно перевести на русский без ощущения комизма.

Например:

With the greatest respect...

Со всем возможным уважением...

Очень часто после этой фразы следует уничтожающая критика.

Или:

That's certainly one way of looking at it.

Это, безусловно, один из способов взглянуть на ситуацию.

На практике такая реплика нередко означает:

Какая потрясающая чушь.

Здесь проявляется важная особенность элитной коммуникации.

Чем выше статус группы, тем реже она использует прямое столкновение.

Предпочтение отдаётся намёкам, полутонам и ритуальным формам.

В XIX веке этот механизм достиг почти карикатурных масштабов.

В Британии существовали целые руководства, объяснявшие, как правильно пользоваться столовыми приборами, кому первым подавать руку, когда снимать шляпу и каким образом представлять людей друг другу.

Фактически речь шла о социальном экзамене.

Человек, который не знал этих правил, автоматически считался менее образованным, менее культурным и зачастую менее достойным.

Хотя между умом и способностью правильно держать вилку связь довольно загадочная.

Самое интересное заключается в том, что подобные механизмы никуда не исчезли.

Они просто изменили форму.

Сегодня роль старинного этикета часто играют другие вещи.

Правильная терминология.

Правильный акцент.

Правильные политические формулировки.

Правильный набор культурных сигналов.

Как и прежде, общество любит превращать принадлежность к определённой группе в признак морального превосходства.

А язык остаётся главным инструментом этого процесса.

Это не означает, что хорошие манеры бесполезны.

Вовсе нет.

Жить среди людей, которые умеют контролировать себя и

уважать окружающих, значительно приятнее.

Проблема в другом.

Исторически вежливость никогда не была только про уважение.

Она всегда была ещё и про иерархию.

Про принадлежность.

Про социальные границы.

Про способность отличить своих от чужих.

Поэтому хорошие манеры оказались одним из самых эффективных социальных изобретений в истории.

Они позволили элите превратить собственные привычки в универсальный стандарт культуры.

И сделать так, что этот стандарт многие века воспринимался не как инструмент власти, а как простая и естественная добродетель.

От греха к токсичности

**Как слова *sin*, *vice* и *wickedness*
уступили место *toxic*, *problematic*
и *harmful*, хотя сама моральная
функция осталась прежней**

Если бы житель средневековой Англии внезапно оказался в современном Лондоне, его поразили бы многие вещи.

Самолёты.

Смартфоны.

Электричество.

Отсутствие чумы.

Но, возможно, сильнее всего его удивило бы другое.

Люди по-прежнему бесконечно обсуждают добро и зло.

Только делают это совершенно другими словами.

Средневековый человек постоянно слышал вокруг себя слова вроде:

— *sin* — грех;

— *vice* — порок;

— *wickedness* — злодейство, нравственная испорченность;

— *temptation* — искушение;

— *virtue* — добродетель

Современный англоязычный человек гораздо чаще слышит:

— *toxic* — токсичный;

— *harmful* — вредный;

— *problematic* — проблемный;

— *offensive* — оскорбительный;

— *unsafe* — небезопасный;

— *inappropriate* — неуместный

На первый взгляд это совершенно разные миры.

На второй — различия оказываются не столь велики.

Потому что моральная машина общества никуда не исчезла.

Она просто сменила словарь.

Когда грех был объективной реальностью

Для человека XIII века грех не был метафорой.

Он был таким же фактом реальности, как дождь или урожай.

Если священник говорил:

This is a sin.

Это грех.

...то речь шла не о личном мнении.

Предполагалось, что существует объективный моральный порядок мироздания.

Бог определил правила.

Человек либо следует им, либо нарушает.

Спорить здесь особенно не о чем.

Точно так же работало слово *vice*.

Сегодня его обычно переводят как «порок», но современный русский уже плохо передаёт исходный смысл.

Для средневекового сознания порок был не просто недостатком характера.

Это была болезнь души.

Жадность.

Гордыня.

Зависть.

Похоть.

Лень.

Человек должен был бороться с ними так же серьёзно, как с физической болезнью.

Язык постоянно напоминал ему о существовании моральной вертикали.

Есть верх.

Есть низ.

Есть правильное.

Есть неправильное.

Что случилось после смерти Бога

В XIX веке немецкий философ Фридрих Ницше произнёс свою знаменитую фразу:

God is dead.

Её обычно понимают неправильно.

Ницше не сообщал о кончине Всевышнего.

Он говорил о другом.

О том, что европейская цивилизация постепенно перестаёт строить мораль вокруг религии.

И здесь возникает проблема.

Если исчезает старая моральная система, что приходит ей на смену?

Логично было бы предположить: ничего.

Но история показывает обратное.

Пустота почти никогда не сохраняется долго.

На место старых моральных категорий приходят новые.

И очень часто они появляются именно через язык.

Почему токсичность стала новым грехом

Возьмём слово *toxic*.

Ещё сравнительно недавно оно относилось главным образом к химии.

Токсичное вещество.

Токсичный газ.

Токсичные отходы.

Всё предельно конкретно.

Но затем произошло нечто любопытное.

Слово начало мигрировать в сферу человеческих отношений.

Появились выражения:

toxic relationship

токсичные отношения

toxic masculinity

токсичная мужеподобность

toxic behaviour

токсичное поведение

toxic workplace

токсичная рабочая среда

Формально речь идёт всего лишь о метафоре.

Однако эмоциональная сила слова гораздо интереснее.

Когда человека называют токсичным, его редко просто

описывают.

Его оценивают.

Фактически ему выносят моральный диагноз.

Заметьте, насколько близок механизм к старому слову *sinful*.

Грешник тоже воспринимался как источник морального заражения.

Человек, рядом с которым следует быть осторожным.

Конечно, содержание категорий различается.

Но социальная функция удивительно похожа.

Загадочная карьера слова *problematic*

Если бы средневековый богослов услышал современное слово *problematic*, он наверняка удивился бы.

Слишком расплывчато.

Слишком неопределённо.

Слишком мягко.

Но именно в этой мягкости и заключается его сила.

Представьте два утверждения.

Первое:

This is evil.

Это зло.

Второе:

This is problematic.

Это проблематично.

Формально второе высказывание звучит значительно спокойнее.

Но в современном английском оно нередко выполняет ту же функцию.

Оно маркирует объект как морально подозрительный.

Причём часто без необходимости объяснять детали.

Слово становится сигналом.

Остальное аудитория достраивает сама.

В этом отношении *problematic* напоминает религиозные ярлыки прошлого.

Не потому, что означает то же самое.

А потому, что позволяет быстро отделить приемлемое от сомнительного.

От греха к вреду

Особенно интересна история слова *harm*.

Раньше мораль строилась вокруг идеи греха.

Человек нарушал заповедь.

Современная мораль всё чаще строится вокруг идеи вреда.

Сегодня можно услышать:

Harmful language.

Вредоносная речь.

Harmful stereotypes.

Вредные стереотипы.

Harmful ideas.

Вредные идеи.

Обратите внимание на тонкий сдвиг.

Раньше главным вопросом было:

Это правильно или неправильно?

Сегодня всё чаще спрашивают:

Это причиняет вред или нет?

На первый взгляд разница небольшая.

На самом деле она фундаментальна.

Меняется сама система моральных координат.

Но её функция остаётся.

Она по-прежнему объясняет человеку, какие поступки достойны осуждения.

Новые смертные грехи

Средневековая Европа имела знаменитый список семи смертных грехов.

Сегодня никто официально такого списка не публикует.

Однако попробуйте представить себе набор качеств, которые современная англоязычная публика считает наиболее предосудительными.

С высокой вероятностью вы увидите нечто вроде:

- intolerance;
- prejudice;
- discrimination;
- insensitivity;
- toxicity;
- abuse;
- exploitation

Разумеется, речь не идёт о буквальной замене христианской морали.

Но логика узнаётся мгновенно.

Существует набор качеств, которых хороший человек должен избегать.

Существует набор качеств, которые считаются общественно опасными.

Существует язык для обозначения этих качеств.

Именно так работают моральные системы.

Почему слово *offensive* стало таким могущественным

Любопытный пример — слово *offensive*.

Когда-то оно обозначало откровенное оскорбление.

Сегодня сфера его применения расширилась невероятно.

Человек может сказать:

I find that offensive.

Я считаю это оскорбительным.

И этим фактически завершить спор.

Потому что слово уже содержит моральную оценку.

Ему не обязательно доказывать, почему нечто плохо.

Сам ярлык частично выполняет эту работу.

Средневековый человек использовал бы слово *blasphemous* — богохульный.

Современный человек использует *offensive*.

Категории разные.

Механизм удивительно похож.

Почему мы всё ещё нуждаемся в моральных ярлыках

Многие интеллектуалы XX века предполагали, что развитие науки постепенно сделает общество менее моральным и более рациональным.

Произошло почти обратное.

Человечество не отказалось от морали.

Оно лишь сменило словарь.

Людям по-прежнему необходимо быстро понимать:

Кто хороший?

Кто плохой?

Что допустимо?

Что недопустимо?

Что следует одобрять?

Что следует осуждать?

Язык решает эту задачу гораздо эффективнее, чем длинные философские трактаты.

Поэтому мораль постоянно стремится спрятаться внутри слов.

От священника к редактору

В Средние века человек узнавал моральные нормы от священника.

Сегодня он чаще узнаёт их:

- из новостей;
- из университетов;
- из социальных сетей;
- из корпоративных инструкций;
- из популярной культуры.

Но особенно интересно то, что значительная часть этой морали передаётся не через прямые указания.

Она передаётся через лексику.

Через выбор слов.

Через ярлыки.

Через формулировки.

Через эмоциональные оттенки.

Слова становятся маленькими контейнерами для моральных установок.

И чем чаще они повторяются, тем незаметнее кажется их влияние.

Финальная мысль

Часто можно услышать, что современный мир избавился от старых моральных систем.

В каком-то смысле это правда.

Многие слова ушли.

Многие догмы потеряли влияние.

Многие авторитеты рухнули.

Но потребность отделять добро от зла никуда не исчезла.

Поэтому место *sin* постепенно заняли *toxic* и *harmful*.

Место *wickedness* — *problematic*.

Место *vice* — десятки новых моральных ярлыков.

Изменились декорации.

Изменились определения.

Изменились аргументы.

Но сам механизм остался удивительно знакомым.

Человек XXI века, как и человек XIII века, продолжает искать язык, который объяснит ему, кого следует считать хорошим человеком.

А кого — нет.

P.S. Ради интереса, попытайтесь вспомнить, когда в последний раз вы слышали или сами использовали, например, слово «достоинство»...

Изобретение джентльмена

Как слово *gentleman* столетиями продавало социальное превосходство под видом добродетели

Есть слова, которые просто описывают человека.

А есть слова, которые создают человека.

Слово *gentleman* относится именно ко второй категории.

На первый взгляд всё выглядит невинно.

Сегодня джентльмен — это воспитанный мужчина.

Вежливый.

Корректный.

Сдержанный.

Честный.

Тот, кто придерживает дверь, уступает место даме и не ковыряется вилкой в зубах во время ужина.

Однако если заглянуть в историю этого слова, обнаружится одна из самых успешных маркетинговых кампаний в истории языка.

Потому что на протяжении нескольких столетий слово *gentleman* помогало продавать социальное превосходство как моральное достоинство.

И делало это настолько успешно, что люди перестали замечать разницу.

Начнём с происхождения.

Слово *gentleman* состоит из двух частей.

Gentle и *man*.

Сегодня *gentle* означает мягкий, деликатный, обходительный.

Но исторически всё было иначе.

Оно восходит к старофранцузскому *gentil*, которое, в свою очередь, происходит от латинского *gentilis*.

Первоначально речь шла вовсе не о характере.

Речь шла о происхождении.

О рождении.

О принадлежности к хорошему роду.

Фактически *gentle* когда-то означало не «добрый», а «благородного происхождения».

Именно поэтому средневековый англичанин понял бы слово *gentleman* примерно так: человек хорошей крови.

Или ещё проще: человек из правильной семьи.

Это очень важный момент.

Потому что в современном мире мы привыкли считать моральные качества личным достижением.

Человек честен потому, что он честен.

Порядочен потому, что порядочен.

Вежлив потому, что воспитан.

Средневековое общество смотрело на вещи иначе.

Оно было убеждено, что происхождение формирует человека почти так же, как порода формирует лошадь.

Хорошее рождение означало хорошие качества.

Плохое рождение означало плохие качества.

Сегодня подобная идея кажется довольно сомнительной.

Тогда она считалась почти очевидной.

В результате произошло любопытное смешение.

Сначала слово обозначало социальный статус.

Затем статус начал восприниматься как доказательство добродетели.

А потом добродетель стала восприниматься как естественное следствие статуса.

Получился замкнутый круг.

Почему этот человек заслуживает уважения?

Потому что он джентльмен.

Почему он джентльмен?

Потому что принадлежит к уважаемому слою общества.

Почему этот слой общества уважаем?

Потому что состоит из джентльменов.

Языковая магия в чистом виде.

Англия XVII и XVIII веков вообще была одержима понятием джентльменства.

Это был не просто социальный класс.

Это был идеал.

Человек мог быть богатым купцом.

Успешным банкиром.

Владельцем фабрик.

Но при этом оставаться всего лишь богатым человеком.

Настоящим успехом считалось стать джентльменом.

То есть превратить деньги в статус.

А статус — в моральное превосходство.

Именно поэтому множество состоятельных семей стреми-
лось купить поместье, земельный участок или дворянский
титул.

Им были нужны не деньги.

Денег у них уже хватало.

Им нужен был доступ к слову.

К слову *gentleman*.

В этом смысле джентльмен был не человеком.

Он был брендом.

Очень дорогим брендом.

И как любой хороший бренд, он обещал больше, чем ре-
ально содержал.

Предполагалось, что джентльмен:

— честен;

— благороден;

— образован;

— самообладает;

— умеет держать слово;

— ведёт себя достойно.

Всё это звучит прекрасно.

Но существует один неудобный вопрос.

Кто именно придумал этот список качеств?

Ответ довольно предсказуем.

Люди, которые сами считались джентльменами.

Представьте себе, что группа миллиардеров собирается и объявляет:

— *Настоящий хороший человек выглядит вот так.*

После чего выясняется, что все перечисленные признаки идеально соответствуют самим миллиардерам.

Примерно так работала значительная часть британской социальной системы.

Высшие слои общества не просто обладали властью.

Они ещё и определяли язык, которым эта власть описывалась.

Особенно хорошо это видно в литературе.

Откройте английский роман XVIII или XIX века.

Почти неизбежно окажется, что джентльмены обладают внутренним благородством, чувством чести и высоким моральным уровнем.

А люди низкого происхождения гораздо чаще изображаются грубыми, импульсивными или ограниченными.

Конечно, существовали исключения.

Но общий шаблон был именно таким.

Язык постоянно внушал обществу одну мысль: высокий статус и высокие моральные качества каким-то образом связаны между собой.

Самое интересное произошло позже.

Постепенно старые сословные перегородки начали разрушаться.

Промышленная революция.

Капитализм.

Рост городов.

Массовое образование.

Мир менялся.

Но слово *gentleman* не исчезло.

Оно просто сменило маскировку.

Теперь оно всё реже обозначало происхождение.

Всё чаще — поведение.

Настоящий джентльмен уже не обязательно должен был происходить из дворянской семьи.

Достаточно было вести себя как джентльмен.

На первый взгляд это выглядело демократизацией.

На самом деле произошло нечто ещё более интересное.

Старый социальный идеал просто переоделся в новую одежду.

Викторианская эпоха довела этот процесс почти до совершенства.

Британская империя распространила по миру не только флот, железные дороги и чай.

Она экспортировала образ джентльмена.

Именно тогда окончательно сформировался знакомый нам набор качеств:

— спокойствие;

- самообладание;
- эмоциональная сдержанность;
- надёжность;
- дисциплина;
- хорошие манеры

Любопытно, что все они прекрасно подходят для управления империей.

Случайность ли это?

Вряд ли.

Особенно забавно посмотреть, что происходило с противоположным образом.

Если джентльмен был идеалом, то кто считался антиджентльменом?

Как правило:

- слишком эмоциональный человек;
- слишком громкий человек;
- слишком агрессивный человек;
- слишком импульсивный человек

То есть практически любой представитель низших классов в карикатурном изображении британской элиты.

Язык снова выполнял свою любимую функцию.

Он превращал социальные предпочтения в моральные категории.

Заметьте, насколько похож этот механизм на многие современные явления.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.